

слишком больших издержек. И сегодня пробиться к тому уровню, где мы мыслим, а не валяем дурака (каким бы сакральным это «дуракаваляние» ни было), чрезвычайно сложно, если вообще возможно³⁶.

36. Там же. С. 21.

Алексей Апполонов

Растворение в повседневности



Франко Моретти.
Буржуа: между историей
и литературой / Пер.
с англ. И. Кушнаревой.
М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. — 264 с.

В своей новой книге известный итальянский литературовед Франко Моретти взялся за задачу сколь актуальную, столь и, кажется, безнадежную. Он вознамерился ответить на вопрос: куда в наше время, когда «капитализм силен как никогда», подевался, собственно, герой и субъект капитализма, владелец капитала — буржуа? Точнее будет сказать, впрочем, что эту тему автор заявил в предисловии, в то время как книга в целом, скорее, занята другим: она показывает (преимущественно на примере художественного текста), как рождается и в чем состоит идеология буржуа. Тем не менее к вопросу о судьбе этого класса Моретти, как дипломированный литературный критик-марксист, возвращается постоянно, не настаивая вместе с тем на его актуальности. Еще во введении автор признается, что современность знает плохо, так что никаких актуальных выводов делать не станет. И безукоризненно держит слово: книга заканчивается Ибсеном.

К решению поставленной задачи Моретти идет через литературный текст. Полагая, что литература — место, где «разрешение диссонансов бытия» (как Лукач определял форму в «Теории романа») сохраняется в относительной неприкосновенности, он утверждает, что «обратная разработка» (*reverse engineering*, не путать с деконструкцией) литературных произведений с помощью анализа форм позволяет понять, решению каких задач эти формы служили, когда были актуальными. (Во введении Моретти сообщает, что намерен в числе прочего показать «то, например, как такое слово, как „комфорт“, намечает контуры легитимного буржуазного потребления или как темп повествования при-

способливается к новому размеренному существованию»). В силу небольшого объема книги и очевидного намерения не изложить историю литературы, а дать предельно краткое и емкое описание метода (что Моретти прямо эксплицирует), отбор основных героев и произведений, иллюстрирующих те или иные утверждения, носит неизбежно фрагментарный и отчасти волюнтаристский характер. Здесь это, например, Робинзон Крузо, Эмма Бовари, «Миддлмарч» Элиот, «Сердце тьмы» Конрада, чрезвычайно популярная в СССР «Кукла» Болеслава Пруса, Ибсен. О русском романе Моретти говорит вскользь, когда рассуждает о периферийных для капиталистического мира эксцессах интерпретации буржуазной догмы. Тем не менее по отношению к логике высказывания самого Моретти примеры отобраны очень точно, а требовать большего при потенциально необозримом материале было бы избыточно.

Идеологические, социологические и экономические пристрастия Моретти характерны для человека умеренно левых взглядов (с ударением на оба слова): это Маркс, Энгельс, Вебер, Веблен, Лукач, Грамши, Шумпетер (в части критики буржуазии), Хобсбаум. Именно к ним Моретти обращается, когда нужны «внешние» объяснения рассматриваемых черт буржуазии в диахронии литературных текстов, обходясь при этом, например, без Дюркгейма или Парето, несколько иронически цитируя Джеймса Милля о необходимости среднего класса и с совсем уже заметной иронией — Карлейля, пишущего о «Рыцарях Труда». В целом Моретти безоговорочно принимает веберовскую концепцию

«духа капитализма», объясняющую появление рациональных стратегий поведения буржуазии диссидентскими религиозными доктринами эпохи Реформации и порожденными ими ценностями и социальными практиками. Во всяком случае, едва он приступает к разговору о Робинзоне, как те качества, которые он полагает «буржуазными» — рациональность, умеренность, аккуратность, комфорт, — возникают уже сами собой, притом поначалу даже скорее как цель, нежели средство (средства Робинзон изобретает на ходу). Таким образом, «предметный» (и очевидно, мелочный) характер буржуазии детерминируется сразу, практически без объяснения причин (но со ссылкой на авторитет Вебера), а все дальнейшее повествование посвящено его литературной репрезентации. Столь же безоговорочно он принимает и вторую важную веберовскую идею — расколдовывания (*Entzauberung*) мира, которым занято капиталистическое общество, переходящее от сакральных к рациональным практикам и на этом пути, несмотря на приобретенную точность описания, утрачивающее его, мира, смысл.

Ценность метода Моретти состоит в том, что в своем анализе такой двусмысленной и невесомой материи, как идеология, он идет дальше значений слов, частотности и контекста их употребления, получая таким образом хоть сколько-нибудь «объективные» (или, скорее, «материальные» — в рамках той же логики, что считает «материальным» экономический интерес) данные. Пользуясь несколькими словарями, тремя базами данных — корпусом книг *Google Books*, базой данных «Чедвик-Хили» (*Chadwyck-*

Healey Database) и корпусом «Литературной лаборатории», — а также, что более существенно, возможностью с легкостью производить лексический поиск по всем ним, Моретти становится обладателем статистического аппарата, мощь которого еще пятнадцать лет назад представляли себе только оптимисты.

Такой метод позволяет ему продемонстрировать, как буржуазия прямо на наших глазах в буквальном смысле рождается из текста. Так, он анализирует состав «Робинзона Крузо» (не только первый новый европейский роман, но и первый роман о буржуазии), показывая, как с помощью герундия появляется на свет целеполагающая грамматика нового класса (Моретти называет ее грамматикой необходимости). *Having now brought*, говорит Робинзон, начиная выстраивать очередную телеологическую фразу, наводящую мост с односторонним движением от неудобного прошлого через хлопотное настоящее к комфортному будущему. И из этого тактического стиля мышления рождается новая парадигма, в которой опыт, любознательность и мужество человека, обретая инструментальное значение, становятся ценностно нейтральными качествами, необходимыми для достижения чисто утилитарных целей. Честность, трудолюбие, серьезность, предметность и комфорт как антонимы гедонизма вырастают из того языка, которым Робинзон описывает последовательность своих действий. Чтобы называться хорошим человеком и иметь право отдохнуть, ты должен много и методично трудиться; прежде чем начать трудиться, ты должен прикинуть, какие средства сможешь употребить на этот труд. Вебер определял

капитализм как способ ведения хозяйства, которому свойствен учет капитала в денежной форме — в первую очередь в виде бухгалтерской отчетности, а рациональная методичность, необходимая для такой бухгалтерии, уже заключена в телеологическом языке Робинзона.

По утверждению Моретти, языком детерминировано и содержание понятия «средний класс», вызывающее ныне столько затруднений. Возникшее в Британии в момент, когда в стране разрыв между бедными и богатыми достиг наиболее драматических масштабов, это понятие присвоили классу, выступающему опосредующим звеном и медиатором между богатыми и бедными, *upper* и *lower*. Его появление как раз и было вызвано необходимостью снять это угрожающее противоречие. Поначалу буржуазия с гордостью приняла на себя роль такого посредника, ибо ценностями ее в самом деле были умеренность и срединность. Буржуазия как компромисс: между богатыми и нищими, между консервативной и прогрессистской идеологиями, между рафинированным и низменным вкусом. Со временем компромисс становится синтезом, и буржуазия рождается как нечто актуальное, результирующее, фактическое и (поэтому) тотальное.

Далее, прибегая к статистическому и семантическому анализу слов и высказываний в исторической перспективе, Моретти показывает, как под давлением идеологии постепенно и незаметно смещается смысл определений — от принадлежащих преимущественно физическому миру к (по большей части) эмоциональным, связанным с идеями и категориями (например, *strong* и *heavy* у Дефо или Элизабет Гаскелл столетие спустя).

Моретти раскрывает феномен роста частотности «викторианских прилагательных», то есть понятий, содержащих косвенную — «без строгости» — этическую оценку происходящего, и неуклонное падение использования понятий прямо оценочных, таких как «добродетельный» (*virtuous*) или «недостойный» (*unworthy*). Слово «чистый» вытесняет слово «непорочный» (используя русскоязычные аналогии) и тем самым снимает с себя семантическое бремя оценки, становится внешне нейтральным арбитром, имплицитно предполагая, что описываемое им качество не навязано предмету автором высказывания, но имманентно ему. Так работает мягкая сила буржуазии, превращающая мораль в повседневность, от которой уже невозможно избавиться (Моретти в этой связи упоминает высказывание Ницше о «постыдно обморализировавшейся манере речи»).

«Объективный» тут ключевое слово. Рассуждая о том, что буржуазия в своих романах не скрывает мотив эксплуатации, а, напротив, «заставляет все общество взглянуть в глаза правде о себе», Моретти называет ее первым реалистическим классом в истории. Подчиняясь логике реализма, буржуазия стремится к объективности в описании мира (в том числе романном) через детализацию, перенос акцента с основных сюжетных линий на боковые (яркий пример — «Мадам Бовари», где второстепенно фактически все), через несобственно прямую речь, снимающую ответственность с субъекта высказывания. Словом, стремление к объективности приводит буржуазию к созданию того романа, который мы теперь знаем как квинтэссенцию литературной формы.

Но что стало с самой буржуазией? Ссылаясь на обозначенный в английском буржуазном романе конфликт поколений, неизменно приводящий к трагедии¹, Моретти делает парадоксальный вывод: «Буржуа исчезает в момент триумфа капитализма». В стремлении преодолеть комплекс выскочки буржуазия начинает растворяться в представлениях о легитимной культуре: ее здания микрируют под готику, ее привычки копируют старую аристократию, ее пафос скрепляющего общество цемента начинает уступать место своего рода классовому рессентименту, объектом которого, разумеется, выступает аристократия. (Профессиональные музыканты танцевальных и военных оркестров Америки в этот момент принимаются рассуждать на страницах цехового журнала *Metronome* о миссии своего занятия, которая состоит в том, чтобы воспитывать в буржуазии рафинированный аристократический вкус.) Буржуазия утрачивает свои идентичность, содержание и ощущение легитимности. За последней она обращается к аристократии. Однако на ее пути предсказуемо встают идеалы умеренности, скромности и практичности.

1. «...маленький Поль умирает из-за „недостатка жизненной силы“; сын Флетчера — инвалид, ненавидящий его кожаную фабрику, которому очень повезло, что его опекуном становится „джентльмен“ Галифакс; сына Миллбэнка от неминуемой смерти спас маленький лорд Конингсби, тогда как дочь Грэдграйнда едва избежала адюльтера, а его сын становится вором и, по сути дела, убийцей» (157–158).

Вознамерившийся стать аристократом буржуа в итоге довольствуется ролью джентльмена, дающей ему, с одной стороны, необходимую степень социального признания, с другой — не требующей прямой лжи, заключенной в фамильных гербах и генеалогиях (в качестве примера последнего можно вспомнить барона Данглара). Моретти показывает эту метаморфозу на примере романа «Джон Галифакс, джентльмен», герой которого видит, что толпа собирается напасть на его благодетеля, поскольку у того в подвалах полно пшеницы, поднимает пистолет, выходит вперед и говорит: «Это его пшеница, не ваша. Разве не может человек поступать со своим добром, как захочет?» «Вот и все», — поводит итог Моретти: вместо цветистых оборотов о Рыцарях Труда Карлейля, принадлежащих уже ушедшей эпохе самоутверждения нового класса, человек просто поднимает пистолет и констатирует очевидное. Так буржуа делается силой, а став ею, расстается с тем, в чем не нуждается, — с велеречьем, со ссылками на христианскую традицию и с аффектированностью жестов. Отношения между буржуа и миром начинают выстраиваться в рамках еще более архаичного, чем аристократический, патерналистского мифа отношений между «хорошим слугой» и «добрым господином». С этого начал Робинзон, спасши Пятницу. Этим заканчивают свою социализацию буржуа, победившие в себе авантюрный дух раннего капитализма (и Робинзона). Так он становится повседневностью.

Однако после этого буржуазия существует еще более ста лет, и даже в рамках горизонта компетентности автора она надолго переживет момент

превращения в джентльменов. К сожалению, здесь книга Моретти как будто утрачивает фокус: две последние главы, повествующие о национализации буржуазии и ее рефлексии в эпоху индустриализации, сообщают вещи более спорные и существенно хуже фундаментальные. Местами возникает ощущение, что текст Моретти отрывается от своей статистико-эмпирической основы, от изложенного в самом начале метода и принимается развиваться исходя из условий сформированной к этому моменту теоретической системы, которая, в свою очередь, модифицируется общей, во многом априорной эпистемологией автора — вещь почти неизбежная, когда дело идет об идеологии. В первой половине книги подобное ощущение быстро проходит, в двух последних частях становится устойчивым.

Моретти показывает, как буржуазия, становясь гегемоном, постепенно уходит в социальную и экономическую тень. (Характерно его рассуждение о тетралогии Переса Гальдоса «Торквемада»: герой, который сохранял могущество, оставаясь на вторых ролях, превращается в пустое, комическое означающее с выходом на авансцену.) По самому своему социальному императиву, качествами которого являются скромность, честность и трудолюбие, дело буржуазии — действовать за сценой. Выход на люди запускает диссипативные процессы. В финале книги на примере ибсеновских героев Моретти показывает, что удел буржуазии — «серая зона», пограничная полоса между законом и произволом. Очевидно, однако, что эта территория скрыта от повседневных взоров, то есть является периферийной и закулисной.

Вместе с тем именно этого вывода Моретти не делает. На последних десяти страницах на примере героев Ибсена он внезапно резко обособляет класс буржуазии, сводя его, как представляется, только к классу предпринимателей (во всяком случае все примеры здесь относятся к чисто деловым коллизиям). Он утверждает, что буржуазия индустриального века, переместившись в «серую зону», стала метафоризировать мир, переводя его с языка прозы, «самой буржуазной», как говорит Моретти, формы высказывания, на своего рода поэтический язык, и тем самым разрушать его. Утверждение это по сравнению с общим корпусом книги выглядит как минимум неожиданным и малообоснованным, а весь текст приобретает несколько разомкнутый, незаконченный вид, что, вероятно, естественно для находящейся в разработке гипотезы, но сильно сбивает с толку.

Несмотря на чувство недосказанности концепции и недоработанности ме-

тода, книга Моретти демонстрирует новизну уже в постановке вопроса. Предложенный автором метод может служить хорошим инструментом демаркации. Как минимум здесь вполне исчерпывающе излагается, что такое средний класс — экономически, этически и этимологически, — что способно положить конец довольно бесплодным дискуссиям о предмете. Кроме того, приводя два определения буржуазии — буржуазия собственности и буржуазия культуры (*Besitz- и Bildungsbürgertum* Хобсбаума), он вписывает в разговор о среднем классе творческих работников и интеллигенцию (интеллектуалов, если угодно), которые порождают массу затруднений у догматических марксистов. Таким образом, книга Моретти — не исчерпывающий проблематику труд (на чем и сам автор совершенно не настаивает), а пролог к большой и увлекательной дискуссии, в последние десять лет снова ставшей чрезвычайно актуальной.

Артем Рондарев

Out of Frame

У Вальтера Беньямина есть откровенно сексистское эссе «Девушки и книги», где вдруг оказывается, что между девушками и книгами много общего. Например, их обеих можно брать с собой в постель. Но Беньямин не упомянул того, что девушку и книгу можно также брать с собой в туалет. И тот же туалет позволяет — за закрытыми дверями — использовать и девушку, и книгу так, как они того, возможно, не хотели бы.

Каких-нибудь британских ученых однажды наверняка ждет социологическое открытие, что управлением книг в сорти-

рах занимаются женщины и что между ними — книгами и женщинами в сортирах — есть странная корреляция: если социальный и образовательный статус женщины ниже того, на который она претендует, то в сортире лежит книга, которая должна читаться, с ее точки зрения, той группой, на принадлежность которой она претендует. У одной моей комплексующей по поводу слабой самореализации подруги в туалете десять лет лежал постепенно тающий в объеме роман «Смилла и ее чувство снега», тогда как у подруг, таких проблем не испыты-